

ИНТЕРВЬЮ
ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК А.С. ДЕМИНА
(Запись Д.С. Менделеевой)

INTERVIEW WITH DSC IN PHILOLOGY
ANATOLY S. DEMIN
(Record by Daria S. Mendeleeva)

Жанр интервью или автобиографического монолога не слишком принят в научной литературе. Но есть поводы, в связи с которыми можно сделать исключения. Восьмидесятипятилетний юбилей Анатолия Сергеевича Дёмина — многолетнего руководителя отдела древнеславянских литератур ИМЛИ РАН — один из них.

Все изложенные далее суждения субъективны и составляют личную точку зрения рассказчика. Разговор записан в 2013 г.

Д.С. Менделеева

Баку

Во время войны мне исполнилось семь лет, так что довоенный Баку я помню очень немного. Жили мы в мусульманском районе, рядом с большой мечетью Тезе Пир — «Новое святое место» — сначала она была занята под склад, а потом снова действовала. Еще помню верблюдов, груженных до второго этажа вениками, точнее, это были стебли каких-то пышных растений для веников, верблюды проходили под окнами и чуть не скребли своей поклажей по днищу балкона.

Когда живешь в Баку, привыкаешь к странностям. Например, раньше в городе были специальные люди, которые переносили через лужи дам, которые заплатят. Потому что брусчатка была только на центральных улицах и были страшные лужи. И вот зимой и летом ходит по улице очень сильный человек с серьгой в ухе — амбал.

Еще я с детства помню и до сих пор люблю запах нефти. Не керосина, не бензина, не ацетона, а именно нефти. Потому что весь Баку — это буровые вышки. Комаров нет, земля сухая, коричневая, вся пропитана нефтью. Сейчас, по иронии судьбы, мы живем недалеко от

московского нефтеперерабатывающего завода, и этот запах иногда до нас доносится. Но в Москве он не такой густой.

А в Баку... Представьте себе: густая, жаркая ночь. Люди спят на крышах на асфальте, потому что крыши в городе покрыты киром — это такой асфальт, который не плавится. Днем регулярно 33–34 градуса жары — идешь по дороге, и каблуки вдавливаются в асфальт. Вечером с моря начинает дуть ветер — называется «морьяна», — но он тоже жаркий. И единственное спасение города — регулярные норды — холодные северные ветры, которые продувают город насквозь. Зимой, если на день выпадет снег, это — катастрофа: никто никуда не ходит, не работает транспорт, не пекут хлеб, в домах холодно, потому что отопления нет.

Объявление войны я не помню, а вот когда в августе наши войска вступили в Иран, в городе начались объявления тревоги, и это было страшно. Помню сестру, которая на восемь лет меня старше. Ей было пятнадцать, такая девица с косами. Мы жили в нагорной части, и она бежала вверх по улице, страшно выпучив глаза, и почему-то с подушкой в руках, возможно, для нашей бабки.

Потом наступили совсем тревожные времена. В 1942 г., когда немцы пытались взять Грозный, к нам иногда залетали немецкие самолеты. Мы их отличали по прерывистой работе двигателей — для экономии — пожужжит-пожужжит, потом тишина. По самолетам страшно били зенитки. Сам Баку не бомбили, но под городом начали гореть скважины — жирный, черный дым. Сверху падали осколки, поэтому с нашего второго этажа мы спускались и стояли в воротах дома.

Есть было нечего, азербайджанки рвали и готовили траву, которая росла прямо между камней мостовой. На рынке продавали черное мясо местных каспийских моржей, по вкусу оно напоминало резиновую галошу, я его не ел. Потом спекулянты стали приносить нам пшеницу, еще была селедка...

Но самое главное мое впечатление того времени — полная свобода, потому что смотреть за мной было некому. Родители развелись еще до войны, позже у отца была другая семья, и он нами не интересовался; я его видел один раз мельком. А мать — нефтяник-геолог, заведующая промыслом — во время войны была на казарменном положении. Дед работал на чайной фабрике, я жил то у них с бабушкой, то у матери.

Дед работал на другом конце города, я носил ему еду в судках и по дороге чего только ни насмотрелся. Помню, трехлетнего мальчика переехал трамвай, и он лежит, еще дышит, смотрит на всех и не может понять, что с ним. Эти азербайджанские мальчики бегали всюду.

Отнесешь обед — и можно идти гулять, в том числе мимо вокзала. Туда приезжали демобилизованные и ругались с женами, которые за время их отсутствия сошлись с кем-то еще. Еще я видел странных людей в конфедератках — в Баку формировалось Войско Польское. Видел, как арестовывали дезертира — срывали с него петлицы и вели куда-то, тыкая длинным штыком. Эта свобода дала мне ощущение, что я в мире не один, что есть другие люди, которые гораздо интереснее твоих внутренних размышлений.

Потом я стал ходить по всему городу и даже за город. Гора, а за ней большая долина, по ней мы с одноклассниками ходили к морю; потом я узнал, что это называется Керматинская впадина. В Баку купаться нельзя — нефть, на воде сплошная пленка мазута; а за городом мы купались.

В школе я был «блатной» — носил бритву, тогда это было принято. Воровал с мальчишками семечки, дружил с беспризорниками, но потом как-то пристрастился учиться. Позже мой дед работал уже переплетчиком, ремесло давало заработок. Многие заказчики не приходили вовремя за книгами, книги лежали у нас дома, и я их читал. Например, полное собрание сочинений Чехова издательства Фриче. С тех пор я помню завет Чехова писать кратко.

Помню брата моего деда, раненого, с дыркой в лице. Его комиссовали, а потом, много позже, он умер от туберкулеза. У деда было два брата, он дружил с обоими. Родом они были с Урала. Потом во время экспедиций я посетил его родной город Сарапул — старообрядческий, с закрытыми наглухо ставнями — смертная тоска. Неудивительно, что дед ушел оттуда в армию и в Белоруссии встретил мою бабушку. Всю жизнь она говорила наполовину по-белорусски: «накала-мехать» — собрать что-то в кучу; «тры рубля», «рубель», «умный, як вутка». Кроме того, я понимал по-азербайджански. Так пришло понимание, что русский — это просто один из языков. И древнерусский потом легче было учить.

Каждый год дед и бабушка ездили к ней на родину в Белоруссию, копали картошку в колхозе, привозили фотографии. В 41-м тоже хотели

ехать, но, по счастью, задержались и только поэтому не сгнули в оккупации.

В Баку жить тоже было беспокойно. Когда возникла угроза, что придут немцы, по квартирам стали ходить азербайджанцы: зайдут без спроса и высматривают, что тут можно будет взять. Их все боялись, потому что вдруг придут немцы — они донесут.

И еще помню каждый день голос по репродуктору: «Наши войска оставили то-то». Бабка сидит — вздыхает, это всё знакомые ее места, дед сидит, трет лысину: «Да, положение тяжелое». Я эту тревожность тоже воспринял. Подсмотрел себе какую-то пещерку за городом, думал: «Здесь я буду скрываться от немцев».

Школа и университет

В младших классах уроки я прогуливал, а на деньги, которые мне давали на завтрак, ходил в кино; так делали все, потому что котлеты в школьной столовой были ужасны — они были из хлеба, и мы бросались ими об стену. Зато я пересмотрел многие картины того времени. До сих пор помню — «Антоша Рыбкин», смешной беспомощный фильм про то, что мы победим. «Два бойца» тоже навели тоску — их показывали поздно осенью, тучи, черные провода...

А в апреле 1944 г. в Баку внезапно распространился слух, что война кончилась. Я шел и кричал: «Слышали?» То, что это только слух, выяснилось потом. Но почему-то он появился именно весной.

А потом захотелось чего-то нового, кроме быта. Я занялся спортивной гимнастикой, мне даже прочили большое спортивное будущее. Это увлечение продлилось долго, продолжалось еще немного и в университете и впоследствии очень мне помогло. Помню, в школьной газете на меня нарисовали карикатуру — я стою одним коленом на парте, кричу: «Завтра в спортшколу!» — а из кармана торчит красный галстук. (Галстуки мы все надевали, а потом прятали.)

По учебе нас все время куда-то переводили и с кем-то сливали, так что оклемался я только в четвертой школе, писал стихи. Правда, тогда я интересовался астрономией и теорией простых чисел, и никто не знал, что я буду филологом. В итоге я даже стал комсоргом школы, скорее за живость характера. Кто-то из моих помощников позже пи-

сал где-то в Интернете, что я был необычным комсоргом, потому что не был властолюбив, просто мне было интересно. Так общественная работа постепенно заняла место спорта.

Гимнастику я к тому времени почти бросил, потому что упражнения одни и те же надоедают. В гимнастике сначала годами делаешь одно и то же, и только потом наступает прорыв и начинаются сложные упражнения — разные элементы на перекладине, с которой можно сорваться и остаться инвалидом на всю жизнь. Такое у нас бывало с ребятами, их ужасно жалко.

В десятом классе встал вопрос, куда же мне идти после школы. Я посоветовался с учительницей литературы. (Учительница была хорошая, она все время заставляла нас писать кратко, так же, как и историк. «Напишите о Наполеоне за 15 минут», — хорошая была школа). Учительница сказала: «Идите на филфак». Но мне очень хотелось на журналистику.

Школу я окончил с серебряной медалью, хоть и не старался. Послал в МГУ просьбу о приеме, мне ответили: «Собеседование окончено, поступайте на общих основаниях». Я понял, что не поступлю, а вот в Бакинский университет меня приняли тут же. Правда, позже меня возненавидела парторганизация. Противный редактор местной газеты сказал: «Я написал за Вас статью, что Вы всем довольны». Я посмотрел и сказал: «Не буду я это подписывать!» — за что тут же заработал репутацию «Дёма — ершистый парень». Экзамены я сдавал, но при этом меня три раза исключали из местной комсомольской ячейки. К счастью, университетский комсорг был умнее — посмотрел на всю эту возню и махнул рукой.

Университет я окончил с красным дипломом, хотя и тут не обошлось без подвоха. На государственном экзамене по азербайджанскому мне сначала поставили тройку. Потом с кем-то, не со мной, был скандал, оценки исправляли, заодно поправили и мне. Распределяли сначала в какой-то ужасный ужас. Но я сказал: «Нет, давайте лучше под Баку. У меня мать нефтяник, буду ближе к ней». Но в селе под Баку, где я намеревался учительствовать, были какие-то свои дела, и в тамошней школе мне выдали справку, что место занято, учитель русского языка не нужен. В университете поворчали, но выдали диплом на руки: «Иди, куда хочешь».

Тогда работу без распределения найти было непросто, и мать устроила меня библиотекарем в научно-исследовательский инсти-

тут по добыче нефти. Это было ужасно скучно, потому что все книги были нечитаемы. А потом вдруг нашлось место в библиотеке университета, конечно, по знакомству. Дело в том, что с первого курса я был влюблен в свою нынешнюю жену, с которой мы вместе уже больше шестидесяти лет. И вот ее отец оказался директором библиотеки университета, а заодно и библиотеки медицинского института, который когда-то был университетским факультетом.

В библиотеке университета я работал уже с удовольствием, даже получил еще одно полное образование — библиографа. Рассказывать об этом долго, но оно мне впоследствии пригодилось, потому что в Ленинграде я работал в библиотеке Академии наук. В ИРЛИ тогда было сокращение штатов, и после аспирантуры взять меня в отдел Лихачев не смог. Он рекомендовал меня в «Публичку», как она тогда называлась. В «Публичке» я проработал три года, и пришлось даже сдавать экзамены на второй диплом. Правда, когда экзамен остался последний, в Москве умерла Вера Дмитриевна Кузьмина, и Лихачев предложил мне ехать в Москву.

Начало научной карьеры

Уже в университете я делал вполне приличные работы про Исаковского, про Тургенева. Диплом писал по «Повести временных лет» — это было описательно, полухудожественно. Во время моей учебы в Баку приезжали какие-то ленинградские ученые, но не филологи, а археологи. Археологией я, правда, тоже увлекался, участвовал в раскопках дворца ширваншахов, это XV в. Раскапывали ширваншахскую баню — находили ярко-голубые изразцы. Я даже нашел запечатанную византийскую амфору для благовоний и написал об этом заметку в местную газету.

Мое увлечение Древней Русью началось с лекций по фольклору и древнерусской литературе, было интересно. Правда, потом я понял, что преподаватель брал учебник Орлова, который разделен на лекции, и читал нам. Позже я узнал, что есть такой Лихачев, видел его книжки, узнал про Пушкинский дом. Написал ему, он ответил: «Очень хочется Вам помочь, но нет к тому реальной возможности».

Я просил дать мне какое-то задание. Лихачев предложил мне написать рецензию на статью Виноградова о «Житии» Аввакума в сборнике Щербы. Статью я прочитал, но ничего по поводу нее сказать не смог, зато стал читать само «Житие». Написал статью, послал ему. Статья получилась как отдельные наблюдения, сведенные в каталог. Лихачев ответил: «Анализировать стиль Вы не умеете». Тогда я понял, что нужно по-другому. Я написал еще одну статью, и она подошла.

Тогда Лихачев пригласил меня в аспирантуру. Я приехал в Ленинград, уже с женой. Был 1961 г., я был у Лихачева на даче, извинился за то, что не смог написать статью о Виноградове, сказал: «У меня получился непереваренный Виноградов». Лихачев внимательно на меня посмотрел — у него к тому времени была язва, но я об этом не знал.

Лихачев рекомендовал меня в аспирантуру, и только потом я понял, какую игру затевал этот политик. Дело в том, что он не ладил с Владимиром Ивановичем Малышевым, который работал в отделе рукописей, и задумал сделать меня его аспирантом, чтобы я потом его сменил. Представляете, как Малышев злился. Он ничем мне не помогал, и приходилось работать самому. Я сидел по двенадцать часов в день и написал диссертацию за два года. Отдал ее Лихачеву, он делал на рукописи свои пометки, одну я помню до сих пор: «Будете писать хорошо». Рукопись эта так и лежит у меня.

Малышев же даже пытался отказаться от меня на заседании отдела, но потом познакомился с моей женой и как-то смягчился. На защите вопросы задавал Берков — совершенно феноменальный библиограф. Занимался он XVIII в., но помнил всё. Ответами моими он удовлетворился.

И вот выпустился я из аспирантуры — а работать негде. Попал в библиографический отдел библиотеки Академии наук, где занимался библиографией трудов Дмитрия Ивановича Менделеева. Представляете, они собирали огромную библиографию упоминаний Менделеева в русской прессе. И тогда я начал шалить — вложил среди карточек «Заметку об ограблении Менделеева на Каирском рынке» (как бы он там оказался?) и еще что-то подобное. Эта чепуха прошла даже корректуру, но, когда ее обнаружили, мне уже не досталось — я к тому времени был в Москве.

Потом меня приняли в отдел старопечатных книг «Публички», где я очень не ладил с заведующей — взять меня она взяла, потому что

позвонил Лихачев, и дама рассчитывала через меня держать контакты с Лихачевым. Но Лихачев сказал: «Я не в восторге от дамы». И всё.

В отделе старопечатных книг я тоже баловался. Например, когда берешь с полки рукопись, положено оставлять карточку. Я оставлял карточку с надписью: «Смотри карточку на другой полке». Вторая карточка вела к третьей, четвертой; так составлялась целая цепочка, причем последняя карточка всегда стояла либо где-то наверху, либо в самом низу. В последней закладке был завернутый пяточок. Хранительница возмущалась.

Кроме того, хранительница любила цветы и постоянно их поливала. Я купил какой-то быстрорастущей травы, засеял в горшки, потом услышал, как хранительница говорит: «Буду вырывать дёминское семя». Но в целом мы жили мирно и ладили со всеми, кроме заведующей, — дама была очень тщеславна.

В Питере мы жили в комнате в коммунальной квартире, на которую обменяли комнату в Баку. В квартире было девятнадцать жильцов, две уборные, и зимами одна стена промерзала насквозь. Когда это случилось, моя жена пошла в ЖЭК к какому-то начальнику и написала бумагу. Огромное спасибо этому начальнику по фамилии Филонов, который ведал жилищными делами. Он посмотрел на нас, снял трубку и сказал кому-то: «Надо разрешить этим двоим вступить в кооператив».

Кооперативы тогда были в новинку. Надо было собрать шесть тысяч рублей денег (не такая уж большая сумма), и ты получал двухкомнатную квартиру. Но чтобы вступить в кооператив обычным порядком, нужно было десять лет жить в Ленинграде, стоять на учете... А тут Филонов написал бумажку «В виде исключения разрешить». Когда жена потом пошла с этой бумажкой в какое-то Управление, на нее очень внимательно посмотрели и дали разрешение.

Потом мы нашли себе кооператив «Большевик» какого-то ракетного института. Заводские квартиры в нем заселили, а несколько дорогих остались. Так мы получили квартиру. Заселялись в дом, когда лифты еще не работали. Жена как раз заболела гриппом, и я ее нес на руках на девятый этаж.

Сразу после получения квартиры родилась дочка. На лето мы ездили с ней в Баку, так и жили.

Про Лихачева

Человек был сложный, но я до сих пор люблю его — с таким человеком интересно жить. Лихачев был очень талантливым человеком, причем не в какой-то определенной области. Он был прекрасным историком архитектуры, он хорошо снимал на любительский аппарат кино. Он был знатоком литературы, причем не просто библиографом. В смысле библиографических знаний были люди и гораздо образованней его, но у него было художественное чутье и творческая жилка.

Правда, та же жилка проявлялась, когда он четырежды переписывал свою автобиографию — то он пролетарий, то из золотощвейных купцов, то из старообрядцев, то еще кто-то. Это был художественный талант. Он даже про смерть своего отца писал так, что это была литература. На докладах он всегда предлагал что-то свое и этим крайне удивлял.

Я благоговел перед ним, даже подражал его почерку. Кстати, я забыл сказать, что после аспирантуры он устроил меня работать в Русский музей, в Отдел иконы и мелкой пластики, но мне это было не так интересно, потому что искусство молчаливо, а меня интересует слово. И я, естественно, поругался с заведующей — она испугалась, что меня подослали вместо нее. В этом же отделе работала дочка Лихачева, ей я тоже чего-то наговорил. В трудовой книжке даже хотели написать «не справился с обязанностями». Но потом написали «по собственному желанию». Потом я работал в Морской библиотеке — видел адмиралов. А потом уже в «Публичке».

Работы Лихачева я в то время читал с упоением, хотя, перечитывая их сейчас, вижу, насколько они популярны, насколько общее впечатление заменяет доказательство. Раньше меня удивляло, почему Гудзий в рецензии отмечал, что «Лихачев пишет конспективно», сейчас я это вижу. Да, Лихачева никогда не подводило ощущение или впечатление, но его тезисы надо было доказывать, а в суждениях он иногда увлекался и преувеличивал.

Лихачев попал на такое время, когда пробудился интерес к древнерусской жизни и литературе, к церкви. Никогда прежде я не замечал, чтобы Лихачев был религиозен, хотя, может быть, он это скрывал. Он стал описывать древнерусскую литературу — ее красоту и патриотизм, и сделал это мастерски. Но по большей части это была даже не

публицистика, а некая смесь творческого прозрения с художественной подачей впечатлений. В те времена это пришлось очень кстати, и он себе это позволял, хотя от других требовал доказательств.

Мы с ним все время удивительно совпадали. Бывает, я вижу что-то в памятнике, а потом либо нахожу в его работах, либо он сам скажет. Кстати, такое художественное чутье в нем существовало, а он тем временем был занят чем-то еще — политикой, политесами, интригами. Бегунов вообще называл его «международным интриганом».

Например, он дружил с болгарским генеральным секретарем, а в библиотеке болгарской Академии наук работала некая Иванова, которая часто приезжала в Ленинград, делала доклады. Она полюбила некоего болгарина, который сбежал за границу, а Иванову Лихачев уговорил остаться. В итоге Лихачев впоследствии получил болгарские ордена, а женщина осталась несчастной. Так что политикой он занимался постоянно и при этом был очень самолюбив.

Но зато он мог быстро продвигаться. Когда он прибыл из ссылки, его нигде не брали. Академик Орлов, который ведал тогда отделом в ИРЛИ, сказал, что Лихачев «слишком красив для ученого». И Лихачев действительно был красив — такого финского типа. Жена у него была машинисткой в ИРЛИ, она была ему стеной и решала все бытовые проблемы, так они прожили до конца жизни.

Когда Лихачев приезжал в ИРЛИ, начиналась паника. Он въезжал в институт, как Станиславский, все бегали, стояли шпалерами внизу и ждали. Потом он поднимался со свитой наверх и мог решать какие-то дела. По бакинской традиции я не брился каждый день — на юге такой заросший вид считается «мужественностью». Лихачев делал мне замечания за то, что я не брит или у меня усталый вид, — его это оскорбляло.

Я бывал у Лихачева дома, он приглашал весь отдел. В отделе его называли «шеф», и я тогда острил, что «у нас есть «Большой Шеф» (Лихачев) и «Малый Шеф» (Малышев)». Но в сугубо текстологический свой отдел он меня не брал — говорил, что я «другого направления».

Сейчас я понимаю, что в отделе рукописей ИРЛИ, где работал Малышев, мне бы действительно быстро стало скучно — описывать рукописи, но не изучать. Хотя и описал я там немало и, кстати, узнал тогда, что самая ценная часть питерского собрания рукописей составляет собрание В.Н. Перетца, которое некогда принадлежало ИМЛИ.

Его передали, когда в 1930-х гг. было решено, что ИМЛИ сохраняет рукописи писателей XX в., а древность передается в Питер.

Когда я приехал, Панченко уже оканчивал аспирантуру, но он выпивал и буянил, и Лихачев не хотел брать его в отдел. Когда я жил в общежитии Пушкинского Дома, Панченко, бывало, приходил, выпивал вино, которое присылали мне из дома, и засыпал у меня же на кровати, сверкая огромными босыми ногами. Но мать Панченко была старшим научным сотрудником отдела рукописей, а его отец до войны — ученым секретарем ИРЛИ. И в конце концов его взяли.

При этом до войны заместителем декана филфака Ленинградского университета был Бердников, который потом стал директором нашего института. Отец Панченко параллельно преподавал на филфаке, а Бердников, видимо, избавлялся от неугодных людей. Отца Панченко призвали в армию, и он погиб на фронте; Панченко не мог простить этого до конца жизни. При этом Панченко окончил не Ленинградский университет, куда поступил вначале, а Пражский, и, будучи в Праге, участвовал во всяких политических демонстрациях. Изначально он хотел быть журналистом-чешистом, но работать было негде, а в Пушкинском Доме была подготовленная среда.

В общем, вот так всё завязано, но Лихачев прекрасно разбирался во всех подобных сложностях; он был царедворец. Академиком он стал поздно, где-то в семьдесят лет. Дружил с Конрадом, который его и выдвинул. В это же время стал Героем соцтруда. При этом была интересная особенность — Лихачева ненавидели бездарные люди — то ли не понимали, то ли завидовали, не разберешь.

У него был инженерный талант — он умел «сооружать книги». Надеюсь, этому я у него научился, а политесу — нет. Это творческое начало я очень ценю в людях, пытался привить его и дочке, и внуку. Но дочь — художник, а внук — психолог.

При этом Лихачев был человек жесткий — он многих прогнал, некоторые даже с ним судились. Например, фольклорист Азбелев некогда был у Лихачева ученым секретарем, а потом вдруг вбил себе в голову, что он должен Лихачева сменить. Ну, и началось...

Главным помощником Лихачева было лицо малосимпатичное — Дмитриев, такой неопределенный ученый, которого Лихачев сделал даже членом-корреспондентом. Про супругу Дмитриева Руфину Петровну, которая тоже была ученым секретарем отдела, ничего плохого

сказать не могу, она была отличный текстолог. А вот Дмитриев был человек вредоносный, выпивоха, который выпихивал всех. Меня он не любил, но как-то пронесло. А Малышев отличался независимостью. Поначалу он был кандидатом наук, но потом, благодаря своим связям, стал доктором, хотя диссертацией его было археографическое исследование. Защищался он не в Пушкинском Доме, а в ЛГУ, оппонентами были Берков и сам Виноградов. Виноградов к тому времени был уже в немилости.

В какой-то момент Лихачев перестал заниматься наукой, и так было больше двадцати лет. Например, «Записки о русском» — это даже не публицистика, а патриотическая писанина. Он разговаривает с какой-то француженкой, рассказывает ей про особенности русского характера. Эту книжечку Лихачев зачем-то послал Раисе Горбачевой, наверное, говоря простым русским языком, подлыгался. Впрочем, в тот момент он очень страдал от Романова, первого секретаря обкома, который царил в Питере. И вдруг к Лихачеву едет кремлевский фельдъегерь, на него начинают сыпаться всякие милости. И тогда он стал думать, как угодить этим людям, — это было любопытно, потому что сначала он называл их «придерасты».

И стали выходить книги, переиздаваться, хотя в основном политические. Например, Лихачев написал «Хартию об интеллигенции», она даже принята ЮНЕСКО, хотя кто ее теперь помнит. Или однажды звонит — прием в Большом театре, срочно нужен доклад про Ивана Федорова. Сам Лихачев Иваном Федоровым никогда не занимался, а у меня к тому времени была статья, ну и я ему чего-то надиктовал.

Лихачев хотел пройти в Союз писателей, но там против него очень был Юрий Бондарев и другие действующие писатели, которые его ненавидели. И было любопытно — мне он говорил: «Работайте и не вмешивайтесь ни во что», — а сам вмешивался во всё. Он даже умудрился поссориться с ВАК, потому что ВАК отказал ему в праве быть оппонентом французской диссертации по аргю. Оказывается, на Соловках Лихачев находил время, чтобы собирать наблюдения по блавному аргю. Работу эту он опубликовал, но много позже. Однако ВАК не считал его специалистом по теме.

Заведующим он был до самой смерти, потом его сменил Творогов; Дмитриев и Панченко умерли раньше.

Охота за книгами

В первую археографическую экспедицию мы попали вместе с Панченко и Бегуновым. Потом я ездил еще, но эта первая поездка была самая примечательная. До этого я выступил на конференции по древнерусской литературе, как мне потом сказали, «с комсомольским задором». Видимо, сказался опыт общественной работы в университете. Это понравилось Лихачеву и особенно Малышеву. Так Малышев предложил включить меня в состав экспедиции, несмотря на то что в институте меня не знали.

Сначала мы ехали поездом до Архангельска. Из Архангельска летели самолетом до Троицка-Печерского. Этот город был известен тем, что там выпал из самолета человек, попал на стог сена, остался жив и даже не травмировался. Оттуда мы плыли до, как там говорят, Холмогор. Но там ничего интересного не нашли — в те времена город был деревянный, скрипучий, покосившийся и такой длинный-длинный. Затем мы прибыли в Ухту, бывший перевалочный пункт лагерей. Там мелкие домишки, вросшие в землю и, видимо, такое плохое питание, что взрослые кошки величиной с котенка.

Оттуда на самолетике с крыльями из хлопающего брезента мы полетели втроем, четвертый был летчик. Летим-летим — кругом от горизонта до горизонта тайга. Причем такая мерзкая — ржавые болота, покосившиеся драные ели, если упадешь, не найдут. Сели на берегу реки, по предложению романтического Панченко, который все время ругался с глупым Бегуновым, построили плот. (Бегунов считался начальником экспедиции и держал деньги у себя, а Панченко мечтал их на что-то потратить.)

Плавание — это было что-то. Подплываем к любому селу, а оно пустое. Жители думали, что мы из военкомата, приехали забирать парней, и прятались в лесу. Правда, выглядели мы при этом интересно: я ходил в тельняшке, Панченко — в отнятой у меня кожаной фуражке; я — коротенький, Панченко — высокий, а Бегунов — толстенький.

Плыли мы на плоскодонке, стоворились с местными жителями по рублю за километр. Был май, Пинега уже отмерзла, но еще не пересохла. Но плыть все равно можно только на плоскодонке, потому что это верховья Пинеги, тот самый водораздел, с которого Ока, Кама и

Волга текут в Каспийское море, а Пинега — на север. И села старообрядческие, потому что именно старообрядцы — основные хранители древней книжности. В те времена, как говорил Малышев, считая Алтай, Север и Молдавию, Америку и Австралию, старообрядцев было десять миллионов. Там, где нельзя было пройти на плоскодонках, поплыли на плотах.

Плывем. Пейзаж своеобразный: зелень темная, северная, а избы старые, сиреневые от старости, чуть ли не синие, сделаны из огромных бревен. Когда жители увидели, что мы народ безобидный и приехали только собирать книги, то вернулись в села, и мы пошли дальше — сначала на лошадях, а потом по зарубкам.

Между селами можно пройти и по тайге, но для краткости по болотам между селами понаделаны дорожки, покрытые тальником — березовыми плашками, которые никогда не гниют. По таким дорожкам можно проехать на лошади, но это большая ответственность — лошадь может сломать ногу, и тогда за нее придется платить. Но лошади умные — они нюхают дорогу и понимают, где глубоко, а где мелко. Правда, иногда лошади выкидывают коленца: не считаясь с тем, что ты на ней сидишь, лошадь проходит под низкой веткой, и тогда прижимайся к крупу. А иногда, если заели комары, лошадь без предупреждения начинает валяться по мху.

Мошкa ужасная. Из окрестных лагерей (мы с собой специально носили бумагу, что мы не преступники, а экспедиция) летом не бегут, потому что комары могут выпить всю кровь. Из лагерей бегут осенью, когда комаров в лесу нет и поспевают ягода.

Приключений я помню два. Приехали в одно село и начали действовать методами, которым нас учил Малышев. С собой везем леденцы («слипшиеся конфетки»). Магазины есть не в каждом селе. Если в таком магазине продают «слипшиеся конфетки», это уже цивилизация. (Еще продают сапоги сорок пятого размера и шестидесятипятиградусный спирт с синими этикетками.) Так вот, мы покупаем конфеты, приезжаем в село, где нет магазина, дарим конфеты детям и спрашиваем, у кого есть книги. Живут в селе по большей части старушки, старики помирают, и вполне можно увидеть старушку в синем сарафане, с пуговицами из красной материи, с хайратником, и все это что-то значит. По костюму можно определить, из какой она семьи и так далее. Говорят они не на привычном нам русском языке, потому

что всё это — потомки древних новгородцев, которые бежали на север с XVI в., а при Никоне все эти селения стали старообрядческими.

И вот к этим старушкам с книгами надо как-то «подсыпаться». Во-первых, мы отрастили бороды. Во-вторых, когда с ними говоришь, нельзя скрещивать руки и ноги. В-третьих, была заранее заготовлена фотография Пушкинского Дома с колоннами, которую мы показывали старушкам и говорили: «Мы ведем споры с людьми с песьими головами о том, какая вера лучше, и для этого нам нужны книги».

Купить книги было нельзя, потому что тамошние крестьяне не признавали денег — считали, что на них изображен портрет дьявола. Значит, надо было уговаривать или меняться. Уговоришь, она принесет книгу, положит ее на чистое полотенце, а ты помоешь руки и смотришь. Пахнут книги старой-старой избой. Этот запах никогда не выветривается, по этому запаху всегда можно определить, где хранилась книга: в библиотеке, в частной коллекции или у крестьян. Посмотреть книгу надо быстро, потому что нам надо ехать вперед. Но обычно мы заранее знали тип книг, который бытует в определенной местности. Например, дониконовские «Прологи», причем читать дониконовский шрифт местные умеют, а гражданский петровский — нет. А дальше — либо выпрашиваешь, рассказываешь про «песьи головы» (я все время вспоминал «Грозу» Островского). Хозяйки или верили, или не верили, но книги иногда отдавали.

Но успех заключался в следующем. Собрать книги поодиночке трудно. Но если нападаешь на собирателя, например на старообрядческого наставника, то сразу собираешь много или делаешь опись собрания. Причем надо на ходу датировать рукописи.

Села отстояли друг от друга на семьдесят-девять километров, но известие о нас каким-то образом шло впереди нас. Помимо книг в той местности были еще какие-то странные рукописи XX в. на кириллице — нечто похожее на описания старообрядческих съездов. Описания мы не брали, хотя информация в них была любопытная. Собранные книги мы несли на себе в рюкзаках. Было тяжело, но при этом мы не завидовали искусствоведам, потому что искусствоведы из этих мест на себе выносили огромные иконы. Иногда обманывали, да. Сопрем книгу, а потом меняем на то, что нам надо.

Вторым большим впечатлением от экспедиции был некий «раб Божий Василий», которого мы встретили в одном из сел. Уже тогда

старообрядцы делились на ряд сект. Были, например, секты, которые крестились кулаком. Я всех этих разделений не знаю, их в свое время очень подробно изучил Бонч-Бруевич.

Раб Божий Василий принадлежал к самой распространенной там секте — ИПХ — «истинно православные христиане». Эти христиане делали следующее: родился человек — его крестили, дошел до какого-то совершенного возраста — его снова крестят второй раз. А в сельсовет и во все официальные органы поступает бумага, что «такой-то умер». И фамилии у человека уже нет, только «раб Божий».

Говорить с местными трудно. У них сохраняется новгородская речь XVI в. — с музыкальным ударением, с неизвестными словами, с артиклями -тот, -та, -то, которые они добавляют к каждому слову. Сначала эта речь совершенно непонятна, но дня через три мы уже стали ее понимать, а потом и сами заговорили так же. И я тогда понял, что отголоски такой интонации сохраняются во многих северных селах. Про Василия нам рассказали, что он был не просто в секте, а какое-то время прожил в «скиту» — особой тайной избе в лесу. Жили там все вместе, и был «свальный грех» — это не считалось чем-то особым. Обитатели скита охотились и клали мех в дупло. А в ответ приходившие из села клали спички (только толстые, такая спичка, когда горит, это целый фейерверк) и другие припасы. Иначе, чем через дупло, скит с миром не общался.

И вот, живя в скиту, раб Божий Василий поссорился со своим отцом, потому что полюбил девушку «из колхоза». Колхозы там чисто формальные и объединяют несколько сел, отстоящих друг от друга на десятки километров. Проблема была в том, что девушка жила «в миру», а Василию выходить из скита было не положено. Дальше, видимо, был скандал, Василий убил отца и стал жить с девушкой.

И вот этот Василий взялся отвести нас в скит, потому что там много книг. Он вел нас по тайге, мы ехали верхом. Наконец, мы вышли к скиту. Это была большая двухкомнатная изба с провалившейся крышей, вокруг было вырублено поле, и было видно, что там что-то выращивали, по-моему, рожь. В самой избе на полу были лосиные шкуры с очень толстой шерстью. (Мы сами спали в избах на таких шкурах — это ужасно жарко, но в них много мелких клопов.) Вокруг валялись вещи, посуда из бересты, веретенце. Видимо, в скиту был какой-то бунт, и всё это стояло заброшенное.

Но, самое главное, внутри на стенах скита были полки, сплошь уставленные книгами. Книг было так много, что часть полок была даже с внешней стороны стен. Книги поливал дождь и обсыпала пыль, но им ничего не сделалось. Книги были и старопечатные, и рукописные, и забрать их надо было сразу, потому что ночевать мы там не смогли бы. Набрали шесть мешков (три лошади по два мешка) и в тот же день вернулись обратно. А провожатый наш ходил исключительно пешком. У него при себе было два мешка: один спереди, один сзади — и он по дороге что-то туда собирал.

В другой раз пришли в село, где уже был колхоз. Женщина говорит: «Да, чего-то было», ведет нас в сарай и вынимает из-под коровы корзину с книгами и свитками. Соответственно, корова на это всё до того мочилась. Мы подсушили, посмотрели — «Апослосл» Ивана Федорова, львовское издание, через десять лет после московского. Начинаем смотреть, откуда он туда попал. На страницах коричневыми выцветшими чернилами запись: «Сия книга Богдана Хитрово», а Богдан Хитрово — глава Посольского Приказа при Алексее Михайловиче. Потом стали выяснять: была ссылка, в ссылку Богдан приехал со своими книгами да там и помер. А книги разошлись по крестьянам.

Третье впечатление. Мы посещали города. Были в Соликамске. Стоит церковь XVII в., полы в ней сделаны из чугунных подушек, а в подушках протоптаны тропинки — столько народу там ходило. В этой церкви, конечно, есть подвал, а в нем — рукописи снизу доверху. Местные эти книги сторожат, прислали даже священника за нами приглядывать, но был метод. Наденешь широкую рубашку — и что-нибудь под нее спрячешь, а потом выходишь «по нужде». И назад. Кое-что так вынесли — синодики. «Слово о полку Игореве» не нашли, хотя все надеются найти именно его, но в этих местах оно будет вряд ли. Хотя «Слово» ведь дошло до нас в псковском списке.

Еще впечатление. Идем по зарубкам. Карт нет, потому что места считаются стратегическими. Плашки в воде прям светятся, зарубку видно, шли по ней, а потом вдруг потеряли. Увидели тропу, пошли по ней, а тропа оказалась звериная. Тропа шла и кончилась, и мы стоим в чаще, куда идти, непонятно. Идти там можно до самого Ледовитого океана, но у нас жрать нечего — из продуктов одна пачка сахара на троих. Три часа ночи, но не так страшно, потому что ночь белая, мож-

но совершенно свободно читать. А кроме того, свет идет от земли, потому что вся земля покрыта черемухой.

Ножами нарезали веток, сделали шалаш, зажгли костер, чтобы отогнать комаров, попили чаю. Мимо бегают то ли волки, то ли лисы, но это неопасно, так как не зима. Сидим. Бегунова от волнения начало рвать, мы как-то держались. Панченко вообще вел себя по-рыцарски — он считал себя более крепким и сильным и взял у нас большую часть книг. Сидим и вдруг слышим: звенит ручей. Если есть ручей, значит, он куда-то впадает, а река — это спасение, там села. Вышли к ручью и видим: стоит корова с боталом — консервной банкой, привязанной к шее. Корову мы стали бить ногами, и она вывела нас в село. Если бы не эта корова, село мы могли бы пропустить. В селе отогрелись, попросили поджарить нам яичницу. Но вообще с продуктами там плохо. Молока не хватало даже детям. Местные жарили шанежки — лепешки из картошки. Были куры, значит, яйца.

Вообще экспедиции были делом трудным, поэтому женщин поначалу туда не брали. Женщины стали ездить потом в более простые места, привозили много книг, но обычно малоценных. Мы же, особенно после скита, набрали столько, что везти их на себе стало совершенно невозможно. Тогда в каких-то цивилизованных местах находили почту и отсылали книги ящиками в Пушкинский Дом. Посылки эти шли обычно месяца три.

Москва

В Москву я первоначально ехать не планировал, потому что для меня центром науки был Пушкинский Дом. В Питере мы купили квартиру, родители с обеих сторон помогли, и бывшие соседки по коммунальной квартире приходили к нам и, цокая языками, говорили: «Как в раю!» В библиотеке, где я работал, мы подготовили выставку «Космос в древнерусских книжных гравюрах», очень интересно, и сотрудники Пушкинского Дома говорили: «Ну, это Дёмин появился».

А потом Лихачев сказал мне: «В Москве задумали издавать тексты ранней русской драматургии. Кузьмина пробила у Виноградова серию (тогда еще Виноградов был академиком-секретарем). Но наши

не хотят участвовать, а в Москве нет специалистов. Напишите, что вы будете участвовать, и поезжайте в Москву, сделайте доклад».

Я списался с Кузьминой, она прислала мне материалы одной пьесы о Северной войне. Я раскопал там много интересного. Например, пьеса была написана тайными акростихами. Поехал в Москву, сделал доклад, на докладе были Робинсон и Державина. Кузьмина сказала, что ей всё очень понравилось и это будут печатать, и умерла в течение года — у нее был рак. Робинсон участвовать в издании не захотел, одна Державина его бы не потянула. Так я поехал в Москву.

В Москве в это время шла борьба за то, кто станет заведующим группой древнерусской литературы. Державина отказалась — до того она вместе с отцом была в ссылке и привыкла не высовываться. Она оставалась верующей, и я тогда увидел, что такое совесть верующего человека — она не интриговала. А Робинсон по натуре был чиновник и болезненно самолюбивый человек, в свое время я обратил на него внимание, потому что он занимался «модными» темами — одной, потом другой, но непременно модными. Например, по следам Виноградова и Орлова он написал статью о «формулах в литературе». Одновременно был секретарем Комитета славистов. Лихачев говорил, что ценит его за то, что Робинсон «аккуратен в бумагах». Так его сделали завгруппой.

Они были заинтересованы, чтобы я приехал и сделал работу по изданию серии. Лихачев сказал: «У Вас в Питере нет корней, и климат в Москве лучше», — потому что моя жена жаловалась на питерскую погоду. И дальше было интересно, потому что нужно было продать кооператив в Питере и купить в Москве. И я ездил выбирать жилье в Москве. Кооператив Педиститута на Ленинских горах мне не понравился: там были свинарники и месиво из красной глины. И вдруг нашлось то место, где мы живем сейчас. Оно было немного похоже на Питер — плоское, недалеко от реки, рядом лес, который жив до сих пор, хотя извели тут много.

Новый кооператив тоже был ракетостроительным, но на трехкомнатные квартиры в доме охотников не было, поэтому все они оказались заняты людьми, не имеющими отношения к заводу, среди которых были и мы. В Питере квартира у нас была двухкомнатная, но, поскольку мы все время за нее выплачивали, при продаже получили сумму, которой хватило на трехкомнатную. В ИМЛИ меня приняли,

но полгода я якобы находился в командировке в Ленинграде — у себя дома.

Причем вначале был казус: я привык, что на работу надо ходить. Приехал в ИМЛИ в десять утра, сижу в приемной директора и ничего не понимаю. В Пушкинском Доме всё было строго — два раза в неделю народ приходил на работу и шатался по зданию. В ИМЛИ потом тоже был такой строгий период, когда всех пытались заставить являться. Но оказалось, что для этого у института слишком маленькое здание — сотрудников тогда было пятьсот или шестьсот, получалось нарушение законодательства о труде. В итоге райком отстал.

Я принялся за «Раннюю русскую драматургию» и быстро понял, что Кузьмина поначалу задумывала простое издание текстов в издательстве «Художественная литература». Я вместо этого предложил делать издание научное. Но в своем томе я упоминал Кузьмину и выразил ей благодарность, потому что для этого издания она много успела сделать. Робинсон Кузьмину ненавидел, а она его. Вера Дмитриевна была женщиной «комиссарского типа» и женой военного, хотя это была просто мода. Она, ученица Сперанского, занималась текстологией, умерла рано — в шестьдесят лет.

К изданию мы привлекли массу народа, разработали правила, по которым нужно было оформлять публикацию: сначала текстология, а потом всё остальное, и получилась очень приличная серия. Закончить ее мы, к сожалению, не смогли. Мы издали пять томов, материалов было еще на два — в основном, про переводные пьесы, но нам сказали: «Хватит».

Пока мы работали над серией, в институте сменился директор. Сначала был Борис Леонидович Сучков, бывший ссыльный, открывший для советского читателя Кафку. До работы в институте он был директором издательства «Художественная литература» и, став директором института, рассчитывал стать членкором. Меня он принял с распростертыми объятиями, считая человеком Лихачева. Когда «Драматургию» начали готовить, Сучков начал эту серию всячески продвигать. Почувяв, что работа пользуется поддержкой начальства, Робинсон сразу проникся к ней глубоким интересом, забрал себе все материалы, очень долго их держал, сам написал пространную статью о том, как в Древней Руси, судя по материалам пьес, уважали царя. Потом он стал жутко к нам цепляться, и я сказал Державиной, что,

возможно, Робинсон хочет стать редактором. Возведенный в редакторы, цепляться Робинсон тут же перестал. Но мы поступили хитро: был редактор тома, но нужен был еще редактор серии, и мы выдвинули Ломунова, заведующего отделом русской литературы.

Таким образом, неся в редколлегии массу имен покровителей и начальников, первый том вышел. За ним — второй. Я делал третий том, посвященный драматургии петровского времени. В четвертом томе были пьесы провинциальных театров. Пятый делала Елеонская. За то время, пока вышло пять томов, Сучков, директор института, умер, директором стал Барабаш. Он предполагал даже выдвигать серию на Государственную премию, но что-то не получилось.

Барабаш навел в институте порядок, например, годовые отчеты мы всегда сдавали в ноябре. Барабаш дружил с Лихачевым, и в этой обстановке акции Робинсона, который пытался строить против Лихачева козни, резко пошли вниз. Когда Барабаш выдвигался в членкоры, его заместителем был Щербина — та еще личность, специализировавшаяся по Ленину, и его выбрали, он перебил Барабашу дорогу. Барабаш страшно обиделся и ушел на другую должность — первого заместителя министра культуры Демичева. И тогда директором прислали Бердникова.

Бердников был ставленником одного из членов Политбюро и потом ушел с работы сразу вслед за падением покровителя. Специализировался он по Чехову, но к работе в институте подходил юридически. Например, если в плане значилось какое-то название статьи, при сдаче отчета сменить в нем нельзя было ни слова. Конечно, со временем мы научились это правило обходить. Наша деятельность продолжалась — мы начали работу над новой серией — «Русская старопечатная литература», выпустили четыре тома.

Потом заниматься чисто источниковедческой работой надоело, и мы перешли к работам типа «Древнерусская литература: изображение общества». Сейчас же начальство требует возвращения к работам источниковедческого типа. А мы тем не менее пытаемся заниматься поэтикой.

Семинар исследователей Древней Руси мы придумали во время перестройки в противовес робинсоновскому единоначалию. Робинсон тогда страшно возмутился и пытался нам это запретить, но не смог. Поначалу оказалось, что докладчики не повторялись три месяца, год. Потом повторялись, но нечасто.

Мы продержались двадцать лет, в разные годы к нам на заседания приходили все — Кусков, директор института Кузнецов, который сменил Барабаша. На таких заседаниях зал был полон. Потом наш семинар оценили, стали считать нас какими-то передовыми. Палиевский на нас посмотрел и завел свой Пушкинский семинар; он действует до сих пор, но днем. В отличие от него, мы собирались вечерами и даже как-то спасли институт. В подвале начался пожар, мы это сразу заметили и сообщили.

Сейчас, к сожалению, наукой занимается всё меньше народа. Были времена, когда в отделе на договорах работало до шестнадцати человек. Потом на семинаре стали преобладать историки, но филологам было неинтересно слушать их доклады. Так семинар постепенно сошел на нет. А что будет дальше, я не знаю.

Свои монографии сам я не читаю. Они все построены по тому типу, который я заимствовал у Лихачева, когда из статей позже получается книга. Статьи я часто переделываю, но не читаю. Себя я не считаю крупным ученым, но «четверочником».

Любой вид работ мешает научной, это я знаю по себе. Если ты библиотекарь — будешь писать каталоги, преподаватель — лекции, всё это страшно мешает научной работе. Но если ты ее любишь, будешь заниматься ею. Я работал в разных местах, но всегда занимался любимой работой — в перерывах или в выходные. Это такой секрет счастья — делай, что хочется. Не «что хочешь» — это сиюминутно, как попить или поесть, а «что хочется», это надо осознать. Многие люди нецельны — им сегодня хочется одного, завтра другого, а потом они и сами не знают. Главное жить с интересом, остальное — не так важно.

Я в той или иной степени благорасположен ко всем людям. Даже когда я читаю в Литинституте лекции, мне интересны люди, для которых я это делаю, особенно заочники, и в итоге получается интересно. Я не отношусь к этому как к обязанности, но мне интересно, и им тоже. Наука — это вообще «удовлетворение любопытства за государственный счет». Хотя сейчас уже за свой, наверное. Моя же задача как руководителя всегда была вдохновить людей на работу и развернуть их друг к другу лучшими сторонами.

Я до сих пор глубоко благодарен моим учителям — Дмитрию Сергеевичу Лихачеву и Владимиру Ивановичу Малышеву.